



П. П. ПЕРЦОВ

Между старым и новым

Все мало-помалу становится на свою полочку...

Долгие годы не видно было никакого внимания *со стороны* — из публики, от критики, от молодежи — к новым, в самом деле новым, а не перефразирующим только новыми погудками старое фактам умственной жизни России, к новым фазам ее теоретической мысли. Долгие годы мы как будто имели в русской литературе и «критике» только Михайловского и Скабичевского¹, Скабичевского и Михайловского, и нескольких *dii minores* * ортодоксального «письма».

В стороне что-то копошилось, кто-то говорил какие-то неясные и неподобающие и, главное, никому не нужные и никем не слышимые речи. Были когда-то славянофилы, но они сохранились почти только в предании. Были Аполлон Григорьев, Страхов — но их почти никто не читал. Потом Константин Леонтьев — но тот был уже окончательно неизвестен. Затем появился этот «чудак», Владимир Соловьев. Затем В. В. Розанов и некоторые новые критики. Все это покрывала густая тень литературного невнимания и равнодушия. На солнце блистали Михайловские и Скабичевские...

Так шли десятилетия. Владимир Соловьев успел умереть, при жизни так и не дождавшись сколько-нибудь широкого внимания. Его ценили «специалисты» — преимущественно за необъятную «эрудицию» и бесспорные качества «профессора». Любители стихов любили его чудесные стихи. Но «публика» вспоминала о нем только тогда, когда «этот чудак» предлагал союз России с папой² или возвещал пришествие Антихриста³. Вполне возможно, что именно это долголетнее духовное пустынножителство, «среди Скабичевских», и толкало иногда философа на излишней экстравагантности мысли и точно какое-то насильственное

* малые божества (*лат.*).

вынуждение к себе общественного внимания. По крайней мере, я так объясняю себе все эти его внезапные, от времени до времени, «открытия» — то «врага с Востока»⁴, то сомнительных друзей с Запада, то опасности превращения России в песчаную пустыню, то в китайскую провинцию. Во всем этом было много какой-то судороги, какого-то неестественного напряжения мысли и воли, — точно желание схватить судьбу за горло. «Никто меня не слушает — не слушают даже явно нужного и значительного. Ну так вот вам необыкновенное» — что вы так любите: пророчества, предсказания, гороскоп судеб ваших и всей России. Нас засыплет песком «враг с Востока»; назначение России — вернуть папе его власть; желтый дракон поднимается над Европой; послезавтра придет Антихрист.

Но не слушали, не слушали даже несмотря на весь пафос и все грозные перспективы предсказаний. Или — еще хуже — слушали именно как курьез: «Вообразите, он пишет об Антихристе!» Серьезно не слушал никто — даже то серьезное, что он говорил так много среди «выдуманного» и притянутого за волосы. Просто не было внимания к самим темам соловьевского мышления, его интересам и влечениям. Было важно и казалось значительным, какое очередное письмо «о русской жизни» поместит в «Русской мысли» Шелгунов⁵ и какую еще новую сатиру на «помпадуров» напишет бывший вице-помпадур Салтыков. Но католицизм и православие, Рим и Россия, желтый Восток и бледнолицый Запад — великие исторические и религиозные оси, на которых движется жизнь человечества, — все это было *временно* забыто и заслонено теми текущими «мелочами жизни». Ибо, как это ни удивительно, но люди не всегда расположены отдавать свою мысль и внимание самому важному и «окончательному», а сплошь и рядом весьма непрочь «поиграть в дурачки» и в философии, и в литературе.

Леонтьев и Соловьев не дожили до своего дня. Почтенный В. В. Розанов мог бы, кажется, отпраздновать свое 25-летие (приходящееся чуть ли не на этот, 1911 год — *avis** его почитателям!), но только теперь, по-видимому, забрезжил для него утренний свет общего «признания». «Мудренными путями Бог ведет тебя» — русская философия!

Уже вскоре после смерти Владимира Соловьева почувствовалась перемена к нему отношения. Но в последние 5–6 лет это отношение меняется так быстро и круто, что едва ли не начинает впадать в противоположную крайность. Теперь уже не ред-

* совет (*лат.*).

кость прочесть, будто Соловьевым «основана» русская философия и даже роль его в ее истории якобы вполне аналогична великой роли Пушкина в русской поэзии⁶. Панегиристов при этом нисколько не смущает довольно грустный факт неизвестного отсутствия этой самой «основанной» русской философии и пребыванием ее все в той же зачаточной, «до-пушкинской» фазе (долею подражательности, долею разрозненных любительских попыток), в какой она обреталась и до Соловьева. Ни оригинальности уже определившегося типа, ни яркости зрелого творчества (что все в литературе было дано Пушкиным) русское мышление пока не представляет. Этот факт слишком очевиден... Но лук, некогда несправедливо погнутый в одну сторону, ныне должен быть выгнут в другую...

Другой мыслитель, современник и столько раз горячий полемист Соловьева, которого будущие исследователи будут, вероятно, постоянно противопоставлять ему, — В. В. Розанов до сих пор еще остается в сравнительной тени. В то время, когда о Соловьеве составила уже целая маленькая литература — статьи, брошюры и даже целые книги, — упоминания о Розанове до сих пор были сравнительно отрывочны и носили случайный характер. Это именно скорее упоминание, нежели подробный разбор, не говоря уже об апологии и панегирике. Этот факт, как мне кажется, лучше всего показывает, насколько мышление Розанова более самостоятельно и, как всякая действительная «новизна», более непривычно для нас, чем общий ход мысли Соловьева, несмотря на все его отдельные парадоксальные выходы. Соловьевский академизм и общий «прибранный» характер его писаний перебрасывают своего рода золотой мост от классического «образа мыслей» в философии к открываемым новым перспективам. Все совершается тихо и постепенно, без разрыва с традицией, а главное, *психологически* в тех же привычных тонах. Недаром Влад. Соловьев умер почетным академиком⁷, тогда как его философическому «антитезису», конечно, никогда не заседать в курульных креслах: слишком крутит и вихрем завивается в его «эмбрионах»⁸ хаотическое начало — то самое, из которого рождается все новое.

Мне хочется отметить своего рода первую ласточку розановской литературы — литературы, уже не им, а о нем написанной. Уверен, что из-за моря будущего летит к нам целая их стая, как прилетела уже соловьевская, — но все-таки сейчас я встречаюсь с ней в первый раз. Передо мною небольшая книжка некоего Г. Б. Грифцова «Три мыслителя». Она характерна для совершающейся перемены вкусов и симпатий. Если бы такая книжка вы-

шла лет двадцать или пятнадцать назад, — эти три мыслителя были бы, конечно, Михайловский, Добролюбов и Шелгунов (или Скабичевский). Я и теперь ожидал встретить которого-нибудь из них, или же, по крайней мере (вспоминая модернистские увлечения), неизбежных ныне западных «властителей дум» — Ницше, Ибсена и какого-нибудь третьего на подмогу. Но, к удивлению, мыслители оказались все трое — русские: Розанов, Мережковский и Л. Шестов. Что же? Может быть, и Мережковский — мыслитель... И уж бесспорно мыслитель — Лев Шестов, но о нем другой Лев — Толстой — так убийственно сказал, что есть мыслители для себя и есть мыслители для публики. «Вот, например, Лев Шестов — мыслитель для публики»⁹...

Самый первый и самый большой очерк посвящен В. В. Розанову. Автор книги, несомненно, очень молод — это доказывает как его «свежая» заинтересованность именно свежим в русской мысли, так и его бессознательно-догматическое западничество. Для русского человека, по-видимому, в молодости все еще полагается быть западником — не в смысле каких-либо политических влечений, а в смысле приверженности к тому или другому западному типу мысли (лучшее доказательство, между прочим, отсутствия «основанного», самостоятельного русского типа). Это повелось, как известно, с очень давних пор — со времен русских шеллингианцев и гегелианцев, впервые перенесших на каменистую отечественную почву семена германского идеализма. Идеалистов 30-х и 40-х годов сменили материалисты 60-х с их евангелием Молешотта и Бюхнера, тех — социологи 70-х со Спенсером и Боклем под мышкой, этих — «марксята» 90-х с библией «самого» «иже во пророцех» Карла Маркса, и, наконец, в наши дни видим совсем «немецких» «гносеологов», в том же возрасте 18–28 лет¹⁰, с Риккертом, Когеном и Виндельбандом¹¹ в руках. Та же почти картина, описанная еще Герценом для гегелианских кружков Москвы 30-х годов; теперь вы можете ее наблюдать в той же Москве на 80 лет позднее, и только с заменой былой метафизики самой «современной» гносеологией и «критицизмом». Ну, конечно, все это гораздо тусклее в своем энтузиазме и своем веровании: книги (тоже немецкие книги) уже не зачитываются «до дыр, до падения листьев, в несколько дней», как при Герцене, а мирно перелистываются, и самые «теоретические» споры ведутся не в прежнем эпическом образе героических битв, а в мирных тонах культурных научных беседований, где поклонники марбургского философа, позволяя себе принципиальное разногласие с последователями философа фрейбургского, воздают им дань должного уважения. И то сказать:

80 лет за плечами! Восемьдесят лет странствования по западным пустыням — за путеводным столбом, имевшим вид огненный при Гегеле, но постепенно заволакивавшимся дымом «критического» разочарования и ныне уныло-облачным. Но усталые путники все еще влекутся за ним, в чайнии живой воды... Найдется ли она в чужой пустыне, почва которой сама засохла от безводия вот уже тоже 80 лет?

Молодой «критик» В. В. Розанова, по-видимому, также полу-ницшеанец, полу-риккертанец, — и русский философ понятен ему лишь постольку, поскольку он может быть транспонирован на западный ключ. На Западе был «антихрист» Ницше; на Западе вообще была со старых времен демоническая, богоборческая вражда с христианством и отвержение его, как и всякой религиозности, во имя гипертрофированного индивидуализма — во имя моего «я», которое пишется с большой буквы. Нельзя ли и русского мыслителя, выступающего с жесткой критикой аскетических идеалов и аскетической культуры, «подвести под Ницше» — понять его внутреннюю борьбу и разрыв с «традицией» как богоборческий и сверхчеловеческий «бунт» и только как бунт? Западные очки дают неизбежную аберрацию в эту сторону, а наличность некоторого «бунта», некоего «восстания мысли» в сочинениях такого «бытовика», такого благостного и умиленного философа выступает и ощущается особенно остро.

И все-таки, мне кажется, это коренная ошибка — не различать горизонтов истории. Запад приучил нас к «сверхчеловечеству» задолго до Ницше. Как грозные вершины европейских горных хребтов, возвышаются среди европейской литературы великие образы «героев»-мятежников, «противников неба» — всех этих Фаустов и Манфредов. Но у нас в бесконечной русской равнине, среди «беспорывной русской природы» (Гоголь), разве не сменились они совсем иными, «смирными» типами? Разве даже сам «мятежный» Лермонтов — Байрон «с русскою душой»¹² — не колебался между Печориным и Максимом Максимычем, и разве последний из наших великих, Лев Толстой, не создал решительного триумфа второму из них (типа Каратаева и пр.)? Нет, русская печь печет иначе, чем западный камин. Этого — хочется нам или не хочется — не переделаешь.

И русский бунт не может походить на западный. Недаром даже бунтовщики Достоевского, все эти Иваны Карамазовы и Раскольниковы, так подозрительно много говорят о чужом горе и несчастьях, о страданиях детей, о конкретных скорбях человечества. Манфреды и Фаусты об этом не заботились. «Падающего толкни» — вот «ницшеанский» тезис, чужая личность су-

ществует лишь как материал для моего «я» — вот учение М. Штирнера¹³.

По-русски выходит иначе. Вот, после долгого странствования по сложному пути розановского мышления, мы приходим вместе с его критиком к «логическому венцу» — этим бурно-пламенным восклицаниям: «Нет, дайте пощады! Хочу... роц, лугов, цветов, музыки. Буду яростен и скажу прямо, что... нужны языческие священные роци и, наконец, девушки, хороводом взявшиеся за руки...» Так. «Это — бунт», как шепчет Алеша Карамазов. Но для кого же, во чье имя поднялись эти «мятежные» возгласы? Может быть, это бунтует только одно «сверхчеловеческое я» философа, начертанное с большой буквы? Нет: он требует этих роц, и музыки, и лугов для... (даже не придет в голову!) — для «пильщика, который, выгнув спину, монотонно шесть дней слышит лязг стали и дерева...»¹⁴ Вот вам Манфред в русской транспонировке!

Знаете, мне кажется, с этим нужно примириться раз навсегда, — с этим фатальным демократизмом и «гуманизмом» русской души, которые выступают как ее скрытая природа всякий раз, когда эта душа создает чистое художество или начинает «философствовать». И уже с точки зрения этого «первичного» факта следует обсуждать ценность и характер ее созданий. Тогда и самый «бунт» этой души приобретет, может быть, новое значение — в нем слышатся, может быть, неожиданные ноты. Западное богоборчество говорило так давно и так долго — и мы знаем все его речи. Если бы русские «бунтовщики» захотели повторять их, — это было бы только скучно. Но они в самом деле благодны и умиленны, эти бунтовщики, — они в самом деле «смиранны», — эти восставшие, если не речами, то каким-то последним сердечным смирением, смирением даже вот перед «пильщиком». Они *религиозны* в своем миропонимании, эти «бунтовщики», — вот в чем окончательный ответ и их решительное отличие от западных «сверхчеловеков». Что делать? — Россия все-таки страна «мистических реалистов», каковы все наши великие писатели, а совсем не страна риккертского «номинализма» и гносеологического человекобожия. Я не знаю, как с этим справятся в Москве, в кружках, почитающих марбургского философа предпочтительно перед фрейбургским, или наоборот. Но как «эмпирический факт» это так, — и то новое, что дает нам наша самостоятельная философская мысль, подтверждает все то же. Остается принять и понять этот «русский оттенок», не застревая между старым и новым.